

Знакомство с героем

Здесь, в горах, на альпийских высотах в пастушеском шалаше, радио принесло весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел Ла-Манш на самодельном самолете, работающем при помощи мускульной силы пилота.

Обычно такого рода новости меня мало трогают, но тут что-то ударило меня в грудь, я покинул шалаш и пошел по цветущему луку к своему любимому месту над обрывом. Пастушеская собака со странной для Кавказа кличкой Дунай увязалась за мной. За время моего пребывания у пастухов мы с Дунаем полюбили друг друга. Меня бесконечно забавляло в нем сочетание свирепых, рыжих, мужичьих глаз и добрейшего характера. У людей чаще бывает наоборот — глаза вроде добрые, а душа поганая.

С одушевленной человеческой осторожностью Дунай заглянул в обрыв, мотнул головой, скорее всего в знак

неодобрения увиденного, и, повернувшись к обрыву спиной, брякнулся у моих ног.

Зеленые холмы, кое-где покрытые пятнами снежников, пушились золотом цветущих примул. В провале обрыва, словно раздумывая, куда бы им направиться, медленно роились клочья тумана и шумела невидимая в бездонной глубине речка. Далеко за обрывом тяжелеял темно-зеленый пихтовый склон горы и желтела ниточка дороги от Псху на Рицу.

Меня ударило в грудь воспоминание о Викторе Максимовиче. Он тоже всю жизнь занимался летательным аппаратом, движущимся на мускульной силе пилота. Аппарат его назывался махолетом, то есть он после разбега набирал высоту взмахами крыльев. Виктор Максимович шесть раз ненадолго взлетал на своем махолете, четыре раза падал, но отделялся сравнительно легкими ранениями.

Сейчас, узнав об англичанине, перелетевшем Ла-Манш, мне стало горько за Виктора Максимовича и стыдно за себя. Англичанин, вероятно, получит премию в сто тысяч фунтов, назначенную за такой перелет неким любознательным богачом. Об этой премии Виктор Максимович неоднократно говорил, и он был так близок к последней, самой летной конструкции махолета. Зная Виктора Максимовича, невозможно было усомниться, что эта премия его интересовала как мощная возможность окончательного усовершенствования своего любимого детища.

Мне стало стыдно за себя, потому что ни разу в жизни я не проявил настоящего интереса к тому, что он делал. Как и все мы, поглощенный своими заботами, я не придавал должного значения жизненной цели этого огненного мечтателя. Ну, получится, ну, полетит, думал я, что тут особенного в век космоса?

Но я любил этого человека за многое другое. Он был отличным собеседником, и я никогда не встречал ни в одном другом

человеке такой размашистой широты мышления и снайперской точности попадания в истину. Немыслимая преданность своему делу как-то свободно и спокойно уживалась в нем с интересом к окружающей жизни и людям. Его многие любили, но некоторые и побаивались попадаться ему на язык. Его терпеливая доброта с безвредными глупцами неожиданно обращалась в обжигающую едкость насмешки в адрес местных интеллектуалов.

Он был начитан, хотя я встречал людей и более начитанных. Но я никогда не встречал человека, который бы так много возился с понравившейся ему книгой. Он ходил с ней по кофейням, зачитывал куски и охотно одалживал ее тем, кто, по его разумению, был в состоянии ею насладиться.

— Культура, — говорил он, — это не количество прочитанных книг, а количество понятых.

Жил он за городом у моря. Изредка он появлялся в городе, одетый в штормовку защитного цвета и такого же цвета спортивные брюки. Он был чуть выше среднего роста, худ, загорел, крепкого сложения. На хорошо вылепленном лице кротко и неукротимо светились маленькие синие глаза. И иногда трудно было понять — то ли свет его глаз неукротим от уверенности во всепобеждающей силе кротости, то ли сама кротость в его глазах — следствие неукротимой внутренней силы, которая только и может позволить себе эту кротость.

На шее у него всегда был повязан платок, что придавало ему сходство с художником или артистом. Кстати, из-за этого шейного платка однажды тень разочарования омрачила мое отношение к нему. И раз я вспомнил об этом — договорю, чтобы больше к этому не возвращаться.

Так вот, обычно у него шея была повязана голубым платком. Но однажды он явился в кофейню с красным платком на шее.

Я шутиливо спросил у него, мол, не означает ли этот новый платок некие сдвиги в его мировоззрении.

— Нет, — сказал он без всякой улыбки, глядя на меня своим кротким и неукротимым взглядом, — неделю назад я услышал какие-то жалобные крики, доносящиеся с моря. Я подошел к берегу и увидел дельфина, кричащего и бьющегося у самой кромки прибоя. Я подошел к воде, наклонился и заметил на спине дельфина глубокую рану возле хвоста. Не знаю, то ли в драке с дельфинами он ее получил, то ли напоролся на сваю возле каких-то ставников. Я стоял некоторое время над ним. Дельфин никуда не уплывал и продолжал издавать звуки, подобные стону. Я понял, что он ищет человеческой помощи. Я вернулся домой, взял в аптечке у себя несколько пачек пенициллинового порошка, подошел к берегу, разделся, вошел в воду и высыпал ему в рану весь пенициллин. После этого я перевязал ему спину своим платком. Дельфин продолжал биться мордой о берег и барахтаться в прибое. Тогда я приподнял его, отошел на несколько метров в глубь воды, повернул его мордой в открытое море и опустил в воду. После этого он уплыл.

Так как я знал, что этот человек никогда не говорит неправды, я был сильно ошарашен. Слушая его и глядя в его яркие синие глаза, я вдруг подумал: он спятил! У него пропал шейный платок, а остальное — галлюцинация!

— Ну и как, дельфин этот больше не приплывал? — осторожно спросил я, делая вид, что поверил ему.

— Нет, — сказал он просто. Мне показалось, чересчур просто. Я любил этого человека, и меня некоторое время мучил его рассказ. Он меня настолько мучил, что я придумал сказать ему, мол, местные рыбаки поймали в сети дельфина, обвязанного голубым платком. Мне хотелось посмотреть, опустит он свои глаза или нет. Однако сказать не решился и никак не мог понять, был этот дельфин в конце концов или нет.

Все же через некоторое время я как-то успокоился на мысли, что в жизни всякое бывает. Тем более об этих чертовых дельфинах чего только не рассказывают. Да и мало ли в жизни случается неправдоподобного. Я, например, однажды бросил окурок с балкона восьмого этажа и попал им в урну, стоявшую на тротуаре. Неправдоподобность этого случая усиливается тем, что я именно целился в эту урну и попал. Если б не целился, было бы более правдоподобно. Так и дельфин этот, если бы плавал в море не в этом голубом платке, а как-то поскромнее, скажем, обвязанный бинтом, было бы более похоже на правду. Во всяком случае, более терпимо.

Обычно, прийдя в город, Виктор Максимович останавливался возле одной из открытых кофейен и пил кофе. Я знал, что чашечка турецкого кофе — это единственное баловство, которое он может себе позволить на собственные деньги. Я знал, что последние десять по крайней мере лет он питается только кефиром и хлебом, не считая фруктов, которые растут на его прибрежном участке. Все, что он зарабатывал, уходило на сооружение очередного махолета.

Сам он об этом говорил просто, считая, что невольная диета помогает ему сохранить форму, ибо каждый лишний килограмм веса — это трагедия для свободного воздухоплавания. Впрочем, для полной точности должен сказать, что его охотно угощали и он с царственной непринужденностью принимал угощения, снисходительно слушая бесконечные шутки по поводу его фантастического увлечения. В нашем городе чудаков любят и подкармливают, как птиц.

Обычно, приходя в кофейню, он озирался в поисках нужного ему человека. Наши кофейни представляют собой биржу для деловых встреч. Здесь он виделся со спекулянтами, снабженцами, вороватыми рабочими, которые доставали необходимые ему краски, смолы, полиамидные пленки, пластмассу, одним словом, все, чего нельзя было купить ни в одном магазине.

Думаю, что пора рассказать все то, что я знаю о прошлом Виктора Максимовича Карташова. Отец его, дворянин по происхождению, приехал в Абхазию вместе с семьей в 1920 году.

В те времена довольно много представителей русского дворянства, я говорю, довольно много, учитывая масштабы маленькой Абхазии, бежало сюда. Это было своеобразной полуэмиграцией из России. По имеющимся у меня достаточно надежным сведениям, их здесь почти не преследовали, как почти не преследовали и местных представителей этого сословия. Я думаю, тут сказались и закон дальности от места взрыва, и более патриархальная традиция близости всех сословий, которой невольно в силу всосанности этих традиций с молоком матери в достаточно большой мере подчинялась и новая власть.

Настоящее озверение пришло в 1937 году, но тогда оно коснулось всех одинаково.

Отец Виктора Максимовича, по образованию агроном, устроился работать в деревне недалеко от Мухуса. Мать маленького Виктора, когда он чуть подрос и его уже можно было оставлять на попечение бабушки, тоже пошла работать в районную больницу. В те годы отец Виктора чуть ли не первым построил дом на диком загородном берегу моря, впоследствии ставшем крупным курортным поселком.

Перед войной Виктор Максимович окончил летную школу и на фронт попал военным летчиком. Судя по всему, он хорошо воевал, был трижды ранен и однажды дотянул до аэродрома горящий самолет. После войны он демобилизовался, вернулся в Абхазию, устроился на местном аэродроме и стал летать на По-2 по маршруту Мухус — Псху.

Однажды из-за нелетной погоды самолет его на несколько суток застрял в горах на Псху. В это время на Псху жил немецкий

коммунист. Они встретились на какой-то вечеринке, и Виктор Максимович, вероятно, находясь в состоянии легкого подпития, рассказал анекдот о Сталине.

Услужливый немец написал донос. Не исключено, что донос полетел вместе с почтой, загруженной в самолет Виктора Максимовича, потому что другого цивилизованного пути на Псху не было. Нельзя же представить, что донос был отправлен на вьючной лошади.

Так или иначе Виктора Максимовича арестовали, а на аэродром приехала комиссия по проверке идеологической работы. Кстати, мой родственник, работавший тогда на аэродроме и редактировавший стенгазету, рассказывал, что комиссия подняла номера стенгазет за многие годы в поисках подрывных материалов.

После смерти Сталина постепенно стало ясно, что рассказанный анекдот потерял свою актуальность, и Виктора Максимовича отпустили домой. Он приехал в Абхазию, но дома его ждало печальное запустение: отец и мать умерли. Бабушка умерла еще раньше, перед самой войной.

Отец его, страстно любивший своего единственного сына, в сущности, умер от горя, и мать вскоре последовала за ним. В те времена политические заключенные, даже если отсидживали свой срок, очень редко отпускались на свободу, и, конечно, отец Виктора Максимовича хорошо об этом знал. Как это ни странно, на смерть Сталина тогда никто не рассчитывал, и те, кто ненавидел лютой ненавистью рябого дьявола, и те, кто обоготворял его, как бы слились в согласии, что он никогда не умрет.

Виктор Максимович вернулся домой, но к своей старой профессии не вернулся или, вернее сказать, теперь решил вернуться к ней более сложным путем. Он решил сам создать воздухоплавательный аппарат и сам полететь на нем.